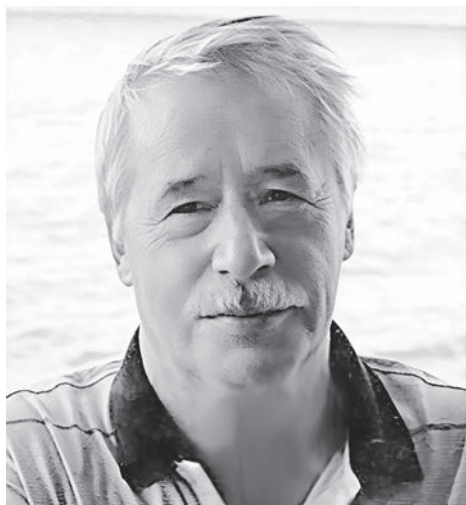




Павел Кренёв (настоящее имя Павел Поздеев) – русский писатель, государственный деятель, полномочный представитель Президента РФ в Архангельской области, секретарь Союза писателей России, автор тридцати двух книг, лауреат многих литературных премий, награжден золотой медалью имени Василия Шукшина. Его проза переведена на французский, китайский, болгарский, сербский, турецкий, эстонский и азербайджанский языки. Критики справедливо и образно называют его «певцом Поморья».

Павел КРЕНЁВ

ТРЕВОГИ СТАРОГО МУРАКАНА

Повесть

Детство – время мечтаний. Всякий мальчишка, наслушавшись бабушек и дедушек, начитавшись детских книжек, грезит морями, штормами, увлекательными путешествиями... Ему хочется поскорее оторваться от домашней обыденности, от родительских глаз и ушей, от всего того, что держит его внутри надоевших правил поведения, каких-то глупых рамок приличия, взрослых условностей... Мальчишек до смерти раздражают «кандалы» детских садов, «железные клетки» школ, обрыдливые диктанты, изложения и сочинения, всякие там алгебры и геометрии...

На природу бы! В леса, в поля, луга и речки! Туда, где воля вольная и рыбалка!

В раннем детстве я сильно хотел быть конюхом. Причин, почему во мне жила такая мечта, было две. Во-первых, отец мой рассказывал, что раньше в их семье жил конь, которого звали Орликом. Папа крепко дружил с этим конем, любил ухаживать за ним и ездить на нем верхом. Потом в деревню пришло колхозное хозяйство, и всех животных с крестьянских дворов согнали в единое коллективное стадо. Орлик стал частью такого колхозного табуна. По привычке первое время он в конце рабочего дня выходил из стада и приходил к хозяйскому хлеву, где родился и вырос, где жили хозяйка и хозяин и добрые домочадцы, которых любил и которые любили его. Долго стоял перед дверью под бревенчатым взвозом и по привычке ждал, когда же его впустят. Даже пытался перепрыгнуть через жерди, преграждавшие путь к месту привычного с его раннего жеребьячества стойла. Однажды и перепрыгнул, едва не сломав себе ноги. Но в стойло его не пустили. Орлик метался среди жердей, ржал с всхлипываниями, напоминающими горький плач... Ему не хотелось в общее стадо... Потом из конюшни пришел конюх и, стремительно работая плетью, отвел взбунтовавшегося молодого коня обратно...

– А чего было делать? – объяснял мне ситуацию отец. – Колхоз тогда пришел к нам, он и командовал...

Я перенял у отца любовь к лошадям, к давно почившему Орлику, и вот, когда в колхозном табуне родились маленькие жеребята, я приступил к колхозным конюхам – дяде Зосиме и деду Никанору – со слезной просьбой дать мне на воспитание какого-нибудь жеребеночка. Конечно, ничего такого они разрешить мне не могли, единственно, что было позволено – приходить в стойло к кобыле Берёзке – мамаше недавно родившегося жеребенка, где он и содержался вместе с ней, и подкармливать его, ухаживать за ним, изредка выгуливать...

В память о том, любимом отцовском Орлике я назвал своего жеребенка тоже Орликом. Конюхи мне это разрешили.

А мне и достаточно было. В любую свободную минуту я был рядом с ним. Гладил его голову, шею, спину... Мама наша, для того, чтобы побаловать кого-нибудь из подопечных скотинок, всегда держала в уголке сеновала небольшой куточек душистых травок: клевера, душицы, одуванчиков, всяких других цветочков, свежих веточек березы, ивы, рябины, всякого разного нежного жеребьячего лакомства... Я помаленьку воровал из маминого куточка душистые пучки травки, набивал ею карманы и все пазухи и украдкой нес своему другу Орлику. Конюхи не возражали против моей опеки над жеребенком и всегда пропускали к нему. Только маленько ворчали:

– Забалуешь коня, Пашко. Хорошо чичас малой он, а завырастат, чё нам делать-то с им? Затребует с нас: давайте-ко, мол, ишше, братцы вы мои, травы сладенькой, как Пашко ему носил! А нам чего с им делать надоть будет? Лягачче станёт, конюшню громить, ежели не дадим. А нам откуль траву ету добывать? По приполькам шастать, искать ей? Дак нам ето не надоть! Нам бы с ostatным табунком совладать...

Правы они были, конечно, дядьки Зосима да Никанор. Что мне было делать? И я волей-неволей маленько ослабил свой жгучий интерес к жеребенку, но частенько, как только позволяла ситуация, приходил к нему и радовался новой встрече с ним: гладил его, вычесывал короткую и жесткую шерсть его железной щеткой. А уж как радовался мне каждый раз Орлик мой! И мать его, Берёзка, радовалась мне тоже. У них, лошадей, всё, как у людей: мать-кобыла любит тех, кто заботится о ее детях.

Было лето, и у Берёзки стояла благодатная пора отдыха от колхозных забот. Мне разрешили брать ее с собой, когда я уходил по домашним или своим ребячьим делам на морской берег или в ближний лес, или же на реку Верхотину, на рыбалку. Всем было чудно видеть, как деревенский мальчишка ловит рыбу удочкой, а рядом пасутся и не уходят от него далеко кобыла с жеребенком. В колхозном хозяйстве такое не было принято.

Я бы, наверное, и забаловал любимого жеребенка, но идиллию наших с ним отношений прервал мой отъезд в Ленинград на учебу в Суворовское военное училище.

Когда пришел вызов из Приморского районного военкомата города Архангельска, из которого следовало, что я «обязан прибыть для прохождения медицинской комиссии и сдачи вступительных экзаменов в город Ленинград», я пошел на конюшню. Там первым делом потрепали мою волосню старые конюхи Никанор да Зосима и, в шутку, конечно, сказали мне так:

– Гляди, Пашко, ежели не поступишь на военно своё дело – обратно не возвертайсе, не дадим тебе больше Орлика! Ни в жись не отдадим! Штёбы с им дело иметь, надоть учиче на пятёрки. Дак ты ето и знай!

И тем самым лишили меня выбора: теперь волей-неволей надо было поступать! Какая была бы у меня жизнь без моего жеребенка? Никакой жизни! Вот с такими напутствиями я покинул родительский дом и ставших дорогими и близкими Берёзку с ее сыночком Орликом. И потом, уже в Ленинграде, мне

долго-долго снились и приходили в раздумья гуляющие на зеленом лугу две лошадки шоколадного цвета – кобыла средних лет Берёзка и ее вечно веселый сыночек, всегда не в меру разыгравшийся, подпрыгивающий и дрыгающий в воздухе ногами ретивый жеребенок Орлик. Еще они представлялись мне замершими среди высокой травы, задравшими над верхушками растений красивые головы и высматривающими где-то вдаль, на краю луга, меня, спешащего к ним из города с охапкой душистой травы, пахнущей клевером.

Васяткины ритуалы

Каждое утро начиналось так. В пять часов утра первым начинал рабочий день серый, толстый и пожилой котяра Васятка. Он просыпался на печке, поднимался на лапы, и, покачиваясь на них на печной лежанке взад и вперед, какое-то время вытягивал жирное тело, музыкально похрустывая при этом уставшими за долгую жизнь позвонками и косточками. Затем, громко промурчав на краю печки что-то весьма важное для нашего дома и для деревни, он объявлял всем, что проснулся он, знаменитый Васятка. Наверное, он также сообщал, что готов заняться неотложными котовыми делами и просит обитателей дома и деревни не мешать ему в этом почтенном занятии. Потом, внимательно оглядев пространство внизу, Васятка прицеливался, куда бы прыгнуть, и сигналы с печки на пол. Там внизу, чуть поодаль, стояла родительская кровать, на которой почивали папа и мама. Хитрый кот недоверчиво относился к папиным ногам, правильно догадываясь: от них может прилететь неожиданный тычок в бок за неосторожное обращение со спящим его хозяином, и тихонько-тихонько огибал опасную зону. Целью его утреннего путешествия была мамина подмышка – теплая, уютная и безопасная. Васятка подкрадывался к ней, мягко-мягко переползал через мамину руку и оказывался в родном гнездышке, нагретом всегда ласковой к нему мамой, специально для него, дорогого котика.

Но даже там, в этом приветливом для него местечке, Васятке долго не лежалось спокойно. Ему не терпелось чего-нибудь сожрать. Например, мышку, она, конечно, вкуснее всего того, что имеется в этом доме, или хоть кусочек наваги или трески. Да побольше, да поскорее. Только вот незадача: где взять эту самую мышку? За ней ведь охотиться придется, подкарауливать, бегать... Поди ее поймай... Сколько сил на это уйдет и нервов... Не очень-то ему всё это было надо! Для обеспечения его продовольствием хозяева имеют, это их забота... И он начинал ворочаться и мурлыкать, чтобы разбудить добрую женщину.

Хозяйка всегда воспринимала эти Васяткины мурчания как будильник, который работал по обыкновению надежно и регулярно.

Она покорно вставала, гладила спинку беспокойного кота и приоткрывала ему дверь, ведущую на поветь. Васятка медленно и важно, как полагается матерому домашнему котяре, выходил за дверь и совершал утренние свои дела или в укромных уголках повети, когда на улице довольно холодно, или же на дворе, ежели там была на тот момент сносная температура.

Чтобы оправдать хозяйского кота и не выставить его в качестве бестолкового и ленивого животного, совсем уж бесполезного, отметим: за годы пребывания в родном для него доме он изловил всех мышей, и они теперь совсем не водились в нем. От этого у старого кота пропадал охотничий азарт, в нем угасал тонус ретивого хищника. По этой причине и появилась, и развивалась в нём теперь та самая лень-матушка, отсюда и жирок толстенький завёлся на загорбке.

Но если вдруг какая-нибудь серая тварь проникала в дом и в нем опять начинали витать отвратительные для людей мышиные запахи, старый кот радовался им словно очаровательным и душистым кусочкам

колбаски, неожиданно свалившимся к ним в дом с щедрого неба. Запахи эти неприятны только для людей, а для кошачьего отродья, к которому имел честь принадлежать и уважаемый всеми Васятка, это был аромат высочайшего порядка. Он оживал, начинал вертеть хвостом и нетерпеливо постукивать им о деревянный пол, кружить по дому в поисках источника запаха – самой мыши. К нему мгновенно возвращался азарт, и в глазах опять зажигались желтые огоньки удачливого мышиного зверолова. Васятка в одно мгновение превращался в лютого и беспощадного саблезубого тигра, вставшего на охотничью тропу.

Он умело и последовательно вычислял точку нахождения будущей жертвы и начинал ходить около нее сначала большими кругами, потом круги сужал... Коту нравилось наблюдать, как приближалась к нему ничего не подозревающая жертва...

Вот она совсем уже рядом, вот совсем близко, но не видит его, потому что нет среди котов такого умельца, как он. Васятка прячется то за хозяйским валенком, то за стоящим около печки помелом... Он неминуемо, неумолимо приближается...

И, наконец, делает последний, смертельный прыжок к своей добыче...

Уже оказавшаяся в безжалостной пасти огромного северного котищи крохотная мышка издаёт отчаянный прощальный, тоненький писк, который скоро исчезает в дебрях большого поморского дома. Васятка, полузажмурившись от истинного наслаждения, деловито, с показной равнодушной делает первое жевательное движение... Кот давно уже ведет себя несколько церемонно, ведь за ним откуда-нибудь издалека и сбоку может наблюдать очередная симпатичная кошечка...

Раньше, когда этот хозяйский котище оттачивал мастерство, он за единый выход на охоту добывал по три-четыре домашних мыши, которые, чтобы порадовать хозяев, затем рядочками укладывал на верхней ступеньке крыльца. Теперь, когда кот переловил в доме всех, даже самых хитрых серых тварей, Васятке стало маленько тоскливо без прежнего азарта, без страсти любимого дела... И он изрядно скучает по нему. И, хотя хозяин нахваливает кота:

– Ты, Васька, добытчик у нас – семью без мяса не оставишь! – всё равно опытному зверолову Васятке скучновато без добротной охоты.

Вынужденные простои в добыче мышиного мяса, правда, удачно компенсируются периодами кошачьего загула. Вот уж радость для первейшего среди деревенских котов самца, сексуального рекордсмена Васятки! Кошки давно распознали его непревзойденные способности ублажать самых отчаянных любительниц котовой силушки, и, когда настает для них очередная пора испытать ее, все они забывают других деревенских котов и стремятся только лишь к нему одному – заветному, сладкому котику, к Васятке. А Васятке чего? Он их принимает с большим, привычным удовольствием!

И стоит тогда на чердаке его дома большой переполох. К костру любви, который был воспламенен им да еще двумя-тремя кошечками, спешат прибежать и погреться другие представители кошачьего мира. И начинается на деревне бедлам кошачьей свадьбы.

Мама души не чаяла в домашних животинках: в коровушке Голубке, барашке Борисее, овечках Белеюшке, Чернушке и Серейке, в собаке Венке и в уже упомянутом, желанном для нее коте Васятке.

Мамина живность

Кроме этой живности, вечно ноющей, неизбежно клянчащей, чем набить толстые пуза, у мамы имелся еще один существенный прибавок, несомненно отягощающий ее человеческое существование. У нее ещё были мы – пятеро

ребятишек, которые так же, как и животинки, неустанно-вечно с каждого утра открывали голодные рты и тоже ныли и кривили недовольные мордочки, требуя порции пищи и сладкого чая.

По прошествии теперь уже многих лет, минувших с тех давних пор, я всё никак не могу осознать: где брала силы эта красивая, простая русская школьная учительница? Вырастившая пятерых детей, а затем настоявшая на том, чтобы все они получили высшее образование...

Активный организатор и постоянный участник колхозной самодеятельности, мама вечно ставила какие-то спектакли в нашем Доме культуры, собирала из местных активистов хоры, и созданные ею коллективы всегда(!) занимали призовые места на районных, а то и областных творческих смотрах. Она стремилась поспевать за жизнью страны, в сфере ее нешуточных интересов были политические события, международная обстановка, поездки наших лидеров по зарубежным странам, переговоры на высшем уровне... Всегда любила обсуждать их, высказать свое суждение. Не берусь судить о глубине и компетентности ее взглядов. Наверное, они не были достаточно выверенными с точки зрения политической и идеологической и не вполне соответствовали царствовавшим на тот момент коммунистическим доктринам, но я твердо помню и знаю: моя мама абсолютно соответствовала своему времени. Она, как и отец, была членом Коммунистической партии Советского Союза и гордилась этим. Долгое время возглавляла партийную организацию нашего колхоза...

Она всегда неустанно заботилась о том, чтобы быть на гребне событий, волнующих страну. И волновалась о ней, как волнуется добрая хозяйка, желающая чистоты родному жилищу. Она всей душой стремилась, чтобы ни в одном уголке, ни в каком-то закуточке ее дома не осталось ни бумажки, ни соринки, чтобы везде и всюду царил чистота, чтобы никакая зловредная душа не могла бы потом сказать:

– А вон там у Ольги Георгиевны мусор по углам валяется!

И учила этому нас. И в нашем доме всегда было чисто.

Наверное, в плане убежденности она многое взяла от отца, старого коммуниста, пулеметчика в гражданскую и в Отечественную войну, буденновца, колхозного бухгалтера, погибшего в сорок втором на Карельском перешейке.

Кроме всего прочего, мама была учительницей начальных классов в нашей восьмилетней школе и в любую свободную минуту склонялась над ученическими тетрадками. Она «за уши» вытягивала отстающих учеников, к ней приходили и советовались родители самых нерадивых и неуспевающих. Мне кажется, мама была педагогом от бога. Ее ценила деревня, ее любил деревенский народ.

Особенность сельской учительницы еще и в том, что в деревне для нее не создаются особые условия: она такая же хозяйка дома, как и все деревенские женщины, в ее ведении, кроме школы и уроков, муж, вся семья, дети, хозяйство, домашний скот... И я совсем не понимаю теперь: как это всё мог тянуть на совсем не могучих плечах один человек? Тем более хрупкая на вид женщина? А наша мама тянула и, что самое удивительное, – искренне и глубоко любила эту ношу! А какие поэтические вечера она устраивала для нас, для своих домашних! Наверное, именно с той, желанной теперь поры я навсегда полюбил Тютчева (именно Тютчева!), Фета, Лермонтова и Пушкина! И всегда считал их ведущими русскими поэтами.

Еще мама самозабвенно обожала, как-то умудрялась знать тексты и мелодии как старинных, так и современных русских песен, и всегда напевала их на домашних творческих вечерах. При этом часто плакала над особенно

задушевыми мелодиями и словами. Песню какую-нибудь голосит, а сама всхлипывает и слёзки платочком утирает...

Тяжелой для всей семьи была заготовка сена для домашней скотинки. Мать буквально убивалась при этом. Всё она боялась, не начнется ли, не хлынет ли дождь, который замочит подсохшее сенцо, и оно потом сгниет в стогу. Очень всегда торопилась и торопила нас, всё поглядывала на небо: не бегут ли тучки, не промочат ли сено, которое под ее руководством скорехонько укладывалось в стога. А уж было беды, если где-то, с какого-то краю показывалась та самая тучка, — мы тогда все начинали не ходить, а бегать, чтобы успеть до дождя уложить сено в подготовленные заколины, сметать правильный стог.

Стога она всегда метала сама. Ей нравились те, которые имели правильную форму: чтобы, если поглядеть сбоку, они напоминали стройную девичью фигурку. Снизу сено должно быть уложено так, чтобы оно висело на коротких кольях — подпорах, но не лежало бы на земле, а как бы зависало над ней. От этого сено снизу продувалось и никогда не портилось. Потом, по мере навала мамой на зарод сена, его толща потихоньку расширялась и, когда обустройство стога переваливало за половину его конструкции, мама вилами уменьшала объем сенной толщи до требуемых размеров. Она работала, словно тонкий, знающий свое дело скульптор, филигранно и расчетливо. Форма стога, создаваемого мамой, приобретала требуемую завершенность и даже изящество линий. Мама самозабвенно любила красивые стога. Среди множества стоящих на различных пожнях стогов она распознавала тех, кто их создал.

— Этот стожок метал Иван Петрович, — говорила она с уверенностью и с некоторым восторгом, указывая на очередной встретившийся нам в лесу сенокосный шедевр. — Он это сметал, больше некому.

А потом, увидев другой, определяла:

— А вон тот мётан Автономушкой, сразу видно.

Затем, в деревне, при встречах с теми односельчанами мама интересовалась:

— Видала я твой стожок, Автоном Кириллович. Красивой он у тебя вышел. Четыре заколины, благошко сенца прибрал. Не ошиблась ли я, ты его метал-то, или другой кто?

— А где, Ольга Георгиевна, видала-то ево?

— Дак в Егорушковой кулиге, перед Задним озером. Красивяпшой он больно, подумала я, что твой.

— Дак он и есь мой, чей ишше? Каков он тамогде? Лоси-то не смягкали?

— Да не-е, стоит. Чего ему делается?

— Да вот волнуясь я, Ольга. Зарод-то ведь надоть обкурить со всех сторон табачком, а табачок следоват вдохнуть вовнутрь ево поглыбже, а то выветрит скоро весь. Тогда какой толк? Никакого! Я, Георгиевна, раза три перед зимой обкурить лажусь, штоб, значеть, надежно дело было... А то-то сенцо не порато я обкурил, помню — не порато. Вот и переживаю...

Надо тут заметить: местные мужики испокон веку придумали верное средство против нападений на сенокосные стога извечных губителей заготовленного сена — зайцев и лосей. Смётанное в стога и оставленное в лесу сено мужики в наших местах «обкуривают» — ходят вокруг с зажженной папироской и усиленно пускают дым на только что смётанный зарод сена. Стараются даже вдохнуть табачок вовнутрь сенца, чтобы зарод просто-таки «дышал» табачиной и уже издали пугал зверье. А коровушки наши табачка не боятся, они ведь живут рядом со своими любимыми курящими хозяевами и весьма приветствуют все запахи, исходящие от них.

Лосиная семья за одну только зиму запросто может скушать два-три полноценных зарода сена, тем более в местах, где зверей не особенно тревожат.

А крестьянскому хозяйству невозможно выжить без этого запаса. Зимы на севере долгие и очень холодные. Никакие капканы и петли против них не помогают, кроме простого, но самого надежного средства – запаха табака. Лесное зверье прекрасно знает, что запах этот всегда сопутствует их злейшему врагу – человеку и стремительно убегает от того места, где обнаруживается такой дух.

Сколько себя помню, самозабвенно любила мама домашних коровушек. Кормилицы эти менялись совсем нечасто – на моей памяти было их в нашем доме в мою деревенскую бытность за всё время всего только три коровушки.

О каждой из них можно писать рассказы.

Дело в том, что каждая домашняя буренка – это отдельный член семьи со своим характером, привычками, с индивидуальным, как правило, капризным, норовом. К каждой коровушке должен быть особенный подход. Мама утверждала: если она перед утренней дойкой не выскажет домашней кормилице обычный набор ласковых слов, не погладит, как обычно, не подарит улыбочку, не поскоблит животик – доброй отдачи не жди: молочка выдаст меньше, а то и пнет подоийник с надоенным молоком, чтобы провинившейся хозяйке ничего не досталось. Не знаю, как у других, а у меня, глядя на маму и ее коровушек, сохранилось впечатление о любой корове как о нежно любимой, но хитрой и коварной женщине с непростым характером.

Для моей мамы все ее коровы были самыми заветными подружками. Она входила в хлев и начинала с ними обниматься. У меня до сих пор в памяти сохранилось, что она с каждой своей коровушкой при встречах обнималась и даже целовалась. И кажется мне, что коровы также обнимали и ласкали маму, как и она их. Вот такое воспоминание осталось с той поры, и представляется оно мне совершенно реальным.

Первую коровушку, которая жила на моем веку, звали Голубкой. Приземистая, но не маленькая, она стояла в стойле на ногах, словно крепенькая богатырочка – уверенно и твердо. Происходила из коровьей элиты – в раннем детстве была привезена в наш колхоз в составе небольшой партии «холмогорочек» – телят знаменитой холмогорской породы, которых действительно привезли из Холмогор для улучшения колхозного коровьего поголовья... Наверное, была там какая-то интрига, потому как один теленок из той славной партии неведомо как попал вместо колхозного стада в хлев нашего дома... Ситуация вполне, впрочем, объяснимая: отец на тот самый период состоял заместителем председателя нашего колхоза «Заря»... И, увидев такое вот счастье – холмогорских телят, оказавшихся под его «надежным руководством», принял самое разумное решение: «как не порадовать родному человечку», то бишь самому себе! «Одна теляточка», названная впоследствии Голубкой, как-то, может быть, и случайно, оказалась в его собственном хозяйстве... так уж получилось...

Голубка всей коровьей статью, поведением и удойностью отвечала ласковому и милому имени: это было добрейшее, умнейшее и очень полезное для семьи животное. Коровушка наша приносила каждый день более тридцати литров молочка довольно высокой, небывалой для северной деревни жирности. Я так пристрастился с далекого детства к ее молочку, что не могу отвыкнуть от него до сих пор. Все ведь говорят: коровье молоко взрослым людям пить не рекомендуется, мол, присутствует в нем какое-то вещество, которое могут потреблять только лишь маленькие дети. Какая-то лактоза или как там ее?... А людям, вышедшим из детского возраста, молоко пить опасно. Да и люди сами в солидном возрасте это чувствуют и от молока отворачиваются. Наверное, я не могу никак выйти из того возраста, потому что самозабвенно обожаю молоко от коровы и могу пить его без ограничений до сих пор.

Голубка избаловала нашу семью любовью к нам. Она растворилась в ней и была равноправным ее членом, знала и любила каждого из нас. Летней порой, вернувшись в дом после пастбища, в хлев не заходила, пока не пообщается со всеми моими братьями и сестрами, тоже и со мной. Мы так привыкли к ней, что не мыслили жизни без нашей коровушки.

К сожалению, и это страшный и неизбежный догмат для всего сущего: в этом мире, конечно, всё, всё когда-то заканчивается...

На Севере в зимнюю, тем более ночную пору, всегда холодно. И почему-то родители приняли решение как раз в зимний период отремонтировать коровье стойло, которое сильно прохудилось: через его дырявые стены сквозили северные ветра и грозили выстудить не только коровью загородку, но и весь хлев. Очень уж суровой выдалась та зима... Папа и мама решили срочно утеплить опасные места, но для этого требовалось временно переселить Голубку в другое стойло, тем более что его отыскивали довольно быстро – это был пустующий хлев нашего соседа. Мгновенно сговорились, и в положенное время Голубку туда перевели.

Коровушка наша благополучно жила там несколько дней. И вот однажды вечером к соседу заявился друг, а точнее, старый собутыльник, с которым они слишком долго обсуждали мировые проблемы. Покинул дом нашего соседа он довольно поздно – вышел из него уже за полночь и, понятное дело, в развеселом состоянии. Как назло, выходил он не через главную, а через хлевную дверь, рядом с которой находилось стойло Голубки.

Дверь он, будучи сильно выпившим, конечно же, за собой не закрыл, а так как зимней ночью был сильный мороз, холодные сквозняки выстудили стойло нашей коровушки – Голубушки. В ту ночь она смертельно простудилась. И заболела... И вскоре не смогла стоять на ногах...

Ветеринар, изучивший ее состояние, через несколько дней сказал, что она обречена... Мама с великой печалью перенесла смерть своей подружки. Болела и плакала, как от потери любимого человека.

Мы все тоже плакали...

Поход за теляткой

Остаток зимы семья наша в том году провела не то чтобы впроголодь, но без коровы всем нам жилось довольно непросто. Это были хрущевские времена, бездарные и проклятые, когда на фоне глупых кукурузных, целинных и всяких других сельскохозяйственных экспериментов впроголодь жила вся советская деревня.

Потом явилась наконец весна, в дома и на поля стало приходиться тепло, и мама первая стала волноваться:

– Коровушки нету, а я без коровушки не могу!

И вот семья стала думать: как бы обзавестись коровой, да поскорее?

С рук готовую добротную корову не возьмешь – нет таких дурачков в деревне, кто бы отдал в чужие руки разлюбленную буренку. Только если теленка кто продаст. Теоретически можно было рассчитывать на то, что кто-нибудь за деньги отдал бы теленочка, но это совсем уж вряд ли: телята все напересчёт и в колхозе, в домашних хозяйствах: а ежели коровушка дойная и молочка дает изрядно, ее телятки уходят влёт, очередь на них загоя занимают, задолго до отёла, там случайному человеку не подступиться. В общем, судили родители, рядили и приняли такое решение: попасть в Сосновку, там договориться с кем надо и только там выбрать теленочка. Здесь требуется пояснение: Сосновка – место летнего выгула колхозного коровьего стада из деревни Яреньга, соседней деревни, которое находится километрах в десяти от нее, богатое сочной травой и разнотравьем. Да тут еще полезное дело подстатилось: за тем

стадом присматривает и живет где-то там с ним рядом дедушко Игнат, мамин родной дядя. Папа и мама решили: вот он и поможет теляткой обзавестись, подскажет, какого теленочка брать, а какого не надо...

Родители долго советовались, решали:

– Далековато, конечно, пешочком шагать до той Сосновки: семнадцать километров до Яреньги, потом десять до Сосновки, там надо будет потратить время на выбор теленка, на всяки переговоры, то да сё... А сколько денег уйдет на эту животинку? Как заломит Яреньга цену... Потом обратный путь...

– Затратно всё, – сокрушались родители. – Золотой теленочек-то обернется!

После долгих обряданий и совещаний семья решила отправить в дальнюю дорогу на Сосновку двух человек – меня и нашу маму. Почему именно нас? Во-первых, мама была довольно известна во всей нашей районной округе как учительница и деревенская власть, и одно ее имя служило пропуском куда бы то ни было для местного населения. Ну а я имел репутацию вездесущего проныры и передвигался на местности довольно быстро, что могло бы сослужить, в крайнем случае, добрую службу.

В общем, в один прекрасный момент мы с мамой выдвинулись в направлении бывшей деревни Сосновки и озера Мураканского, в просторечии именуемого Мураканом, на берегу которого она находится. Перед нами стояла задача преодолеть пешком около тридцати километров, чтобы выбрать из колхозного стада самого замечательного и красивого теленка и пригнать его к себе домой. И мама, и я были преисполнены стремления выполнить эту благородную задачу.

Наверное, как я теперь догадываюсь, особенную радость испытывала мама: впервые за долгий период она вырывалась на свободу от этих школьных учебников и тетрадок, от домашнего хозяйства, висевшего тяжким ярмом на ее молоденькой шее, от пятерых ребятишек, которых надо было кормить, обувать и одевать, отнимающих всё свободное время. От любимых, но изнуряющих силы овец, жутко избалованных хозяйкой, вечно требующих всё новой и новой сочной травки, растущей где-то в дальних лесах...

По дороге к Сосновке мы переночевали в доме бабушки Марьи Ондревны – бабы Мани, одиноко живущей в деревне Яреньге, на полдороге до цели нашего похода. В доме, стоящем на пригорке над речкой, носящей такое же название. У нее осталось немного сил, и бабушка давно уже не держала корову, поэтому она нас потчевала тем, что было в кладовке да в шкапчиках: кусочками хлеба, соленой трещёчкой, свежими грибочками с отварной картошкой, пшенной кашей с малой долей молока, подаренного соседкой... Получилось всё сытно...

Я давно уже не бывал у бабы Мани и с большим увлечением обшаривал закутки ее повети, рылся в старинных железяках и деревяшках, раскиданных тут и там. Мне попадались старые, давно выброшенные из обихода деревянные и тряпичные игрушки, измочаленные до крайности поморской детворой, обрывки рыболовных снастей, какие-то железяки. Всё было интересно, но не нашлось ничего полезного, что можно было бы перенести из бабушкиного дома в дом наш, и я потихоньку забросил поиски и вернулся к маме.

Мы подкрепились у бабы Мани пшенной кашкой, сваренной на козьем молочке. Эх, любимая это была еда! С тех далеких пор не едал я ничего вкуснее той бабушкиной каши, покрытой коричневой мягкой пеночкой! В городе пытался ее повторить, да куда там! Наверное, баба Маня знала какой-нибудь приворот, некую секретную тайну того рецепта – приготовления совершенно необычайно вкусной деревенской пшенной каши. Я иногда ночью, когда совсем не хочется спать, прихожу на кухню, наливаю стакан молока и, впад в ночные размышления, совершенно отчетливо вспоминаю нежнейший аромат той бабушкиной пшенной каши, вынутой из горнилы русской печки...

Вновь мысленно сижу за деревянным столом с чистейшими, вышпорканными жесткой щеткой белоснежными досками и, вдыхая их, эти чудесные, свежие, теплые запахи бабушкиной кухни, радуюсь, что нахожусь у нее в гостях...

А тогда, в момент нашего с мамой похода, нам некогда было любоваться бабушкиными изысками, нам надо было продолжать путь.

И мы пошли.

Шли по заплёстку, широкой, утрамбованной волнами полосе песка. Всегда нравилось по нему ходить, когда не было шторма: идешь, как по городскому асфальту, лучше всего босиком, раздольно шлепаешь по сыроватой, твердой поверхности отливного песочка, ноги в песке не увязают, даже следов почти не остается – настолько плотна поверхность берега. Не боясь споткнуться, широко озираешься вокруг и успеваешь рассмотреть всё, что душеньке угодно: уток, чаек, торчащие из воды головы тюленей – нерп и лахтаков. Страшно хитрые они, эти самые тюлени, и в то же время неимоверно любопытные. Около берега они охотятся на стайки рыбной молодежи – селедку, навагу, камбалок, которые не готовы еще противостоять коварным тюленям и становятся их легкой добычей. Ловкие и разворотливые тюлени их быстро догоняют на прибрежном мелководье и скоро набивают толстые брюха свеженьким рыбным молоднячком. Мы с мамой своим присутствием отвлекаем их от любимой охоты, и они внимательно нас разглядывают: не надолго ли намереваемся мы оторвать их от полезного занятия, не опасны ли мы для них? Смотрят пытливо и настороженно. Если их что-нибудь пугает, тут же ныряют, выбрасывая ластами пучки брызг.

Иногда на берег из леса выскакивают зайцы. Сидят среди выброшенных морем бревен, задрав сверху серенькие головы, пошевеливают длинными ушами и разглядывают окружающий мир. Здесь, на морском берегу, где вокруг пустынные просторы песчаных кошек и всё далеко просматривается, зайцам не так страшно, как в лесу. Там из-за каждого куста может вылезти чья-нибудь страшная морда и слопать его, бедного зайчишку, то ли волчья, то ли медвежья, то ли лисья... Да и росомаха не побрезгует им, и куница... Много врагов у жителя российских лесных просторов – красивого и вкусного серого зайца! И тогда только одна у него надежда – на свои длинные, прыгучие ноги. И они в самом деле часто выручают его в минуты смертельной опасности.

Под вечер каждый день из леса на пустынный берег выкатываются один за другим три медвежонка. На пригорок перед заплестком они выходят вместе с матерью, крупной пятилетней медведицей, сильной и вальяжной, владычицей этих мест, какое-то время сидят на маленькой возвышенности и ждут ее позволения выходить на твердый песок, вылизанный морем. Потом, внимательно оглядев окрестности и не заметив ничего опасного на морском берегу, медвежья мамаша дает сорванцам сигнал: можно выходить! Медвежата резво выскакивают на давнюю, утрамбованную волнами игровую площадку и начинают заниматься любимым делом: шалить – гоняться друг за другом, игриво кусаться, бороться...

Мы с мамой дошли до «своротки», до места, откуда дорога уходила вправо и шла напрямик к Муракану, туда, где около этого озера пряталась в лесах неведомая пока что для меня деревня Сосновка. И дальше пошли через лес.

Сосновка открылась внезапно, хотя о ее скором появлении многое что говорило: дорога стала более широкой и утрамбованной, появилось множество тропинок-отвороток, уходящих неизвестно куда. Было видно: здесь раньше обитали люди, осваивавшие эти места.

Удивительное дело: поселок, в котором совсем нет человеческого жилья. Пустынное место, заполненное подрастающими соснами да торчащими кое-где из земли полуразвалившимися деревенскими печками... А ведь

здесь, сказывают, жило-проживало около тысячи человек. Только местами полусгнившие остовы из одного-двух брёвен, давно пришедшие в негодность, брошенные людьми.

Никого вокруг, ни одной человеческой души.

В Сосновке

О том, что тут стоял поселок, мало что говорило, но в том, что он находился именно здесь, ошибиться было невозможно: повсюду находились утопанные когда-то человеческими ногами площадки, на которых недавно стояли дома – жилища каких-то «спецпереселенцев». Этот странный термин впервые я услышал уже давно, но как-то не придавал ему значения, а тут напрямую столкнулся с ним, с этим словом, когда задумался поход в Сосновку, где когда-то обитали эти таинственные люди.

У нас в деревне жили несколько человек, про которых сказывали, что они, мол, из спецпереселенцев. Одного звали Семёном Тюлюбаевым. Был это крепкий, кряжистый мужик, явно не наш, не поморский, судя по фамилии, хотя с виду – абсолютный славянин – светлый, розовощекий и, люди сказывали, страшный бабник. Еще пребывая в категории спецпереселенцев, работал он маячником, командовал несколькими прибрежными маяками, базировался в деревнях, разбросанных по побережью, и, по слухам, имел зазнобушек в каждой деревеньке... Пользовался он тем, что после страшной войны в поморских деревнях маловато было молодых мужиков. Их отсутствие как мог восполнял Тюлюбаев. У него были заведены детишки не с одной местной поморочкой. Что тут поделаешь, жизнь ведь не умирает, она всегда продолжается... В моей деревне Семён Тюлюбаев жил-поживал у местной красавицы Касины Ивановны, которая в молодости явилась моделью для художника-передвижника Василия Рождественского, написавшего с нее картины «Золотоволосая поморка» и «Семужья путина на Белом море», находящиеся теперь в Русском музее Петербурга. Нашу Касину Семён Тюлюбаев, по укоренившейся привычке, тоже благодетельствовал, подарив ей мальчика Мишу, с которым я дружил в детстве, и девочку Клаву.

Жила в нашей деревне и дружная семья Куликаевых. Также спецпереселенцы. Хозяин семьи Николай Кузьмич участвовал в войне, сыновья, их трое, хорошо учились, поступили в вузы, разъехались, когда это стало возможным. А Николай Кузьмич построил в деревне добротный дом и долго из него не уезжал. Он был классным рыбаком и, приехав к нам, на Белое море, из рыбных мест – с Азовского моря, где был каким-то рыбным начальником, научил местных рыбаков искусству изготавливать и устанавливать разного рода невода и сети. Раньше таких снастей у поморов сроду не было, и они Николая Кузьмича, что называется, на руках носили, когда в разы увеличились их уловы. В деревне нашей Николай Куликаев работал начальником местного рыбзавода и, уезжая, сдал этот пост моему отцу.

Так что я изначально с изрядной теплотой и доверием относился к слову «спецпереселенец» и прибыл вместе с мамой на место их недавнего обиталища – Сосновку – с уважением и даже трепетом.

Бывший поселок оказался пустынным песчаным местом в мелком сосновом лесу. Никаких зданий, свидетельствовавших о том, что раньше тут стояли человеческие жилища, не было совсем. На месте, где был поселок, «живых» домов, где можно хоть как-то притулиться нам, путешественникам, не оказалось. Только местами сохранились низенькие, гниловатые остовы бывших погребов, брошенных прежними хозяевами.

Мама сказала, что все дома разобрали и вывезли отсюда их бывшие владельцы, которые по каким-то причинам не вернулись на родину в свои

дома, когда это было им разрешено, а переехали на новое место жительства – в соседний поселок Пертоминск. Там теперь эти пустые дома и стоят.

Нас потихоньку поджимало время – день заканчивался. Надо было искать дедушку Игната – мамину родню, чтобы подготовить ночлег. Нашли его быстро – по коровьему мычанию, которое довольно отчетливо выделялось на фоне березового и соснового шума, раздающегося со стороны Муракана. Там, должно быть, паслось колхозное коровье стадо, где состоял пастухом мамин родственник.

Дедушка Игнат, увидев гостей, поднял старые кости с бугорка, весь подался вперед, какое-то время пытливо и недоверчиво изучал нас, потом страшно обрадовался маме:

– Сколь давненько не видал я тебя, Олюшка, родню свою! – запричитал он и пустился обнимать мою маму. – Эт-ты, едрит-твою! Скольки годочков-то я ж не глядел в твои глазки, красавица ты моя! Дай хоть позырюсь-то на тебя!

Он причитал, и в старых, потусклых глазах его стояли прозрачными жемчужинками искренние слёзы радости.

– Вот ведь радость-то какая явилась ко мне на старости годов! Благодать Христова! – бормотал дедушко и всё выхаживал вокруг нас, демонстрировал радушие. Потом остановился напротив меня: – А ето-то ише хто? – спросил он у мамы, тыча в меня пальцем.

– Дак ты разве не видал? Это сынок мой, Павлушка.

– О-о, дак Пашко значеть... А ево я и не помню... Токо слышал... У тебя, Оля, много ведь их, робятков разных... Разве упомнишь всех...

Вот такое состоялось у меня знакомство с маминной родней – дедушкой Игнатом. Он показал нам с мамой местечко, где предстояло нам ночевать, – во вполне теплом маленьком сарайчике, где хранилось дедушкино хозяйство, и мы с мамой там остались на ночь. Старый Игнат принёс откуда-то два простеньких солдатских матраца – мне и маме. Сказал: «Вот солдаты жили у мня, дак и одарили. Хороши робятки были...»

Мама сразу же уснула, а я пошел на Муракан. Устроился там на лежащей на берегу сухой белой осиновой кокорине, уже дрябловатой от времени, покрытой в некоторых местах дырчатой серой корой, а потому мягкой, и занялся любимым делом – стал глядеть на воду и мечтать.

Встреча с Мураканом

В полутьме белой летней ночи передо мной разверзлось огромное, почти черное пространство, вяло играющее на поверхности тусклыми разноцветными бликами. Это был легендарный, знаменитый на все эти старинные места Муракан. Уж я-то знал, что леса эти наполнены всякими темными тайнами, что в них без большой надобности лучше было не заходить. Сказывали мне друзья мои, что тут такое водится... такое!

Говоря откровенно, жутковато мне было сидеть на осиновой кокорине одному, в чужих, безлюдных местах на берегу пустынного, громадного Муракана и всматриваться в водную глубину, из которой невесть какой корявый вурдалак с бородавчатой рожей может выползти, схватить меня за ногу кривыми зубищами и утащить в черную глубину неведомого мне лесного озера. На помощь звать некого, да и что толку: зови, не зови – никто тут не поможет...

Казалось мне: таинственное, черное пространство будто бы дышало, словно живое, и из дальней его дали прилетали ко мне загадочные, тревожащие слух звуки: то чей-то приглушенный и протяжный крик, то будто бы стон отверженной, погибающей души, далекий, последний... Я сидел маленько взбудораженный, растревоженный этими внезапными для меня, новыми

впечатлениями, и силился не удрать отсюда к маме, к деду Игнату – мне ведь тогда было совсем мало лет, и было мне страшновато в чужих этих местах, в неведомых пока пространствах.

Впереди, на огромной, широкой, дальней противоположной оконечности берега плавало, купаясь в воде, его зыбкое миражное отображение. Там, в таинственном мареве, прятались какие-то тени и звуки, еле слышно, словно скрытая под вуалью, куковала кукушка, и будто бы спросонья, отрывисто, вполголоса кричали утки. Было видно, как перед этой широкой полосой затененности медленно-медленно, но как бы с очевидной радостью колыхалась прозрачная вода, расцвеченная пусть и вечерним, но вполне ярким летним небом. Отражающая небесный простор, озерная вода отпечатывала все его цвета, все оттенки, и поэтому озеро повторяло все краски, купающиеся в нем. Всё это создавало прекрасную, чудесную и цельную картину северной природы, распахнувшуюся передо мной.

Я, совсем еще мальчишка, тогда впервые обнаружил и навсегда впитал в себя ощущение великого счастья родиться в этом цветном, удивительном крае, называемом Русским Севером!

Атака на зажиточных крестьян

В начале тридцатых годов двадцатого века советское правительство начало вдруг закручивать гайки в отношении самого спокойного и самого миролюбивого своего народа – крестьянства. Казалось бы, зачем тревожить людей после столь суровых времен гражданской войны, после кровопролитных сражений классовой борьбы между так называемым пролетариатом и крестьянством, а также совсем ненужных для России перепалок с «не до конца добитой буржуазией»? Ведь в этих схватках опять погибнут сотни и тысячи молодых парней, так необходимых для строительства нового государства. Зачем, кому понадобилось в успокоившейся после последней мясорубки стране вновь создавать кровавое месиво из начавших друг с другом войну славянских крестьянских детей?

Да, было именно так. В конце 20-х – начале 30-х годов Сталин и верхушка советской России вновь начали кампанию по созданию условий для очередной войны. По мнению руководства страны, этого требовала складывающаяся в мире обстановка.

Самыми вескими причинами для столь крутого разворота, хоть как-то поддающимися разумному объяснению, было то, что стране срочно требовалось перевооружить свою индустрию на современный лад, так как методы ведения народного хозяйства в России сильно устарели. Существующая производственная база не смогла бы создавать и выпускать современную военную технику, способную отстаивать интересы российского государства на поле боя, достойно конкурировать с ведущими державами, оснащенными самым современным оружием, с которыми на тот момент Россия не могла совладать.

В этот критический момент в сталинских властных кругах возникла и довольно быстро получила воплощение на практике идея использовать для этих целей зажиточное крестьянство. Эта несомненно оригинальная и весьма «прогрессивная» на тот момент мысль пришла по вкусу руководителям партии и государства. Сразу страна получила несколько «плюсов»: можно было быстро избавиться от так называемых «кулаков», или «деревенских мироедов», названных так большевистскими пропагандистами, якобы терроризирующих крестьянскую деревню, выслав их на окраины страны и создав там избыток рабочей силы. Одновременно сразу же усреднялся и уравнивался социальный состав русской деревни,

в которой не должно быть никаких богатеев, а только представители бедноты, которой, по замыслу большевиков, проще было управлять, легче решать задачи социалистического строительства.

Однако, как известно, среда так называемого «кулачества» формировалась исключительно из наиболее толковых и трудолюбивых крестьян, заработавших деньги и поднявшихся над односельчанами за счет умения, смекалки и великого труда. Эти люди стали достойно жить благодаря первоначальному после Октябрьской революции разрешению советской власти работать на себя. Все они быстро превратили свои хозяйства в процветающие предприятия. Затем, в конце 20-х годов, советская власть поняла: людьми, способными создавать самостоятельные предприятия и руководить ими, трудно управлять, поэтому были приняты решения, запрещающие кулачество в советской деревне.

Вопрос о том, что делать с самими зажиточными крестьянами, решился «по-сталински быстро и логично» – их массово выселили в отдаленные российские регионы, где крестьяне приступили к решению задач «активизации социалистического строительства в советском обществе и индустриализации народного хозяйства», а им самим присвоили маловразумительное имя «спецпереселенцы» и поселили в глухих, необустроенных российских углах. Новые места их жительства называли «спецпоселками», причем высланных крестьян заставили строить и обустраивать их самостоятельно. Всё это сопровождалось гибелью и страданиями множества ни в чем не повинных людей. Очевидно, что для государства было бы намного полезнее не трогать их, а сохранить в российской деревне этих самых талантливых и работающих тружеников в родных для них местах, где они на своем примере создали бы и обустроили каждый свою деревеньку и Рассею-матушку заодно!

Как бы нам всем было от этого хорошо!

Представляется: в этом заключалась одна из самых тяжелых и непростительных ошибок Сталина. Человек, столь много сделавший для страны полезного, пошел на то, чтобы совершать очередные шаги соцстроительства за счет массового унижения и гибели самых трудолюбивых и умных сыновей и дочерей отечества... Которым присвоили унижительную кличку – «кулаки». Этому история никогда не простит Иосифу Сталину! Как бы кто и что ни говорил...

Гонения в отношении депортированных (высланных) крестьян проводились в соответствии с Постановлениями Совета Народных Комиссаров РСФСР от августа 1930 года «О мероприятиях по проведению спецколонизации в Северном и Сибирском краях и Уральской области» и Постановлением СНК от 16 декабря 1930 года «О трудовом устройстве кулацких семей, высланных в отдаленные местности, и о порядке организации и управления специальными поселками».

В соответствии с этими документами, спецпоселки надлежало создавать там, «где ощущается недостаток в рабочей силе для лесозаготовительных работ, в разработке недр, для рыбных промыслов, для освоения неиспользованных земель...»

Спецпоселки надо было строить «не ближе 200 километров от пограничной зоны, вдали от железных дорог, городов, рабочих поселков и крупных селений, также фабрик и заводов, колхозов, совхозов и МТС». Высланное кулачество должно быть «в кратчайшие сроки включено в резерв рабочей силы и максимально использоваться на важнейших хозяйственных работах по освоению края – на лесозаготовках, на сплаве, на транспортном

строительстве, на необжитых сельскохозяйственных землях, в слабо населенных районах, на гражданском строительстве в местах острой нехватки рабочей силы...».

На территории Онежского полуострова Белого моря спецпоселения появились в начале 1930-х годов. Филтрационным пунктом стал Пертоминский Спасо-Преображенский мужской монастырь, где была создана коммуна имени Сталина (впоследствии – имени НКВД).

Всего на территории Онежского полуострова было создано в начале 1930-х годов и существовало до конца 1940-х годов шесть специальных поселков, состоящих из домов барачного типа: поселки Сосновка, Кислуха, Кега, Лопатка, Жижгин и Конюхово. Позднее на берегу Унской губы было организовано еще одно хозяйство, вошедшее в систему этих спецпоселков, – Унский лесозавод, где также проживали и работали спецпереселенцы (кулаки).

Основными условиями расселения в тех или иных местах было создание условий для невозможности побега и обеспечение спецпереселенцев постоянной работой.

Много вопросов для власти возникало от половинчатого статуса переселенцев. С одной стороны, их нельзя было отнести к заключенным, так как решения власти в отношении них не предусматривали содержания под стражей (за колючей проволокой). С другой стороны, власть не отваживалась предоставить им вольное перемещение по стране, и на местах переселенцам устно объявлялись границы территории, которые им не рекомендовалось пересекать. Но, судя по практике, рыбаки Онежского полуострова, например, свободно перемещались из одной точки Белого моря в другую, если того требовали условия рыбной ловли. Решающим требованием при этом было то, что государство действительно рекомендовало спецпереселенцам самим добывать себе пропитание, как это предписывалось в установочных правительственных документах. Исходя из этого, постоянной заботой администрации всех поселков было предоставление максимальной возможности переселенцам самостоятельно обеспечивать самих себя продуктами и одеждой. С этой целью поощрялось разведение приусадебных участков, изготовление и использование рыболовецких снастей: неводов, рюж, мерёж, продольников, перемётов, морд, удочек. Вероятно, перед администрацией не стояла задача уморения всех спецпереселенцев голодом. Задача была другая: заставить людей жить и работать в более предпочтительных для государства местах.

Надо сказать, местные поморы первоначально действительно с большим недоверием относились к прибывшим с юга пришельцам, полагая – среди них много преступников – воров, бандитов, убийц и насильников, что было результатом советской пропаганды, утверждающей: именно за эти преступления их подвергли высылке на Север. Однако вскоре, когда люди перезнакомились и стали ближе друг к другу, оказалось: никаких государственных преступлений переселенные с южных регионов люди не совершили, а добрые отношения гораздо более полезны, чем отчуждение.

На Беломорье до сих пор с большой благодарностью вспоминают живших рядом с ними когда-то невольных пришельцев из Кубани, Крыма, с берегов Каспийского и Азовского морей, научивших их возделывать приусадебные участки и выращивать культуры, которых жители Поморья никогда раньше не знали: огурцы, помидоры, репу, редьку, турнепс, укроп, клубнику... Научили также южане северян изготавливать снасти для ловли селедки... Полезное это было соседство!

Беломорские жители, в свою очередь, обучили вновь приобретенных соседей тонкостям рыбного промысла: ловить семгу, треску, камбалу,

«колоть» зубатку... Изготавливать подходящие для Севера рыболовные снасти... Уроженцы Каспийского и Азовского морей обучались у поморов и зверобойному промыслу, а затем вместе с ними ходили во льды добывать моржа, тюленя-лахтака, нерпу, гренландского тюленя.

Постепенно прибывшие с юга переселенцы неплохо освоились на новых местах – простые северные люди-поморы, видя их трудолюбие и искреннее доброжелательство, вскоре стали относиться к ним с большой теплотой и душевностью. Отверженные официальной властью спецпереселенцы встретили на Белом море полное, открытое расположение поморов. Те приглашали их в свои бригады и артели, вместе с ними ночевали на льду в самодельных лабазах, жили в рыбацких тонях на морских берегах... При этом платили южанам на равных: давали им такие же деньги, что и себе.

Совет Министров СССР 10 августа 1948 года принял постановление, отменявшее все ограничения для спецпереселенцев, вынужденно проживавших в северных районах СССР. Очевидцы рассказывают: те не сразу узнали о выходе этого важнейшего для них решения правительства. Местное руководство опасалось: когда жители разом покинут поселки, некуда будет девать множество домов со всем скарбом, домашнюю скотину, сараи, лодки... Мол, это же всё советское хозяйство... Там и зарплаты у людей обязательные, и пенсии... Это что, всё в распыл? Поэтому начальники помалкивали. Где год, где два от людей скрывали важное решение партии и правительства... И люди по привычке жили себе и жили, в ранге переселенцев, обыкновенных простых обывателей, ущемленных в правах, высланных со своих родных мест неизвестно за что, и ведать они не ведали, что давно уже никакие они не переселенцы, а самые, так сказать, уважаемые советские граждане. Привыкли так жить. Затем, как нередко это бывает, некие доброты где-то что-то ляпнули, произошла утечка «совсекретной» информации, и пошло, и поехало. Потихоньку-помаленьку люди стали возвращаться в родные места, на юг страны. И держать их и сдерживать больше не стало никакой возможности. Поэтому спецпереселенцы все разъехались, к огромному сожалению местной власти: от них уезжала мощная, умелая и умная рабочая сила, весьма необходимая в послевоенный период. К началу 1950-х годов не осталось никого. Многие дома до сих пор стоят брошенные, никто в них не живет.

Сильно не повезло лишь этническим немцам, которых было тоже немало среди жителей покинутых поселков. В ноябре 1948 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, в соответствии с которым им запрещалось возвращаться в места, откуда они были высланы на Север. В те суровые времена, когда страна еще не оправилась от жестокой войны с Германией, проживавшие в России немцы подвергались реальным и, как нам представляется, не вполне обоснованным притеснениям со стороны советских властей. Так, все находившиеся на тот период в девяти спецпоселках Приморского района Архангельской области и, соответственно, Онежского полуострова граждане немецкой национальности не были возвращены в места, откуда они прибыли, а были отправлены в город Плесецк для строительства там военных объектов. Одним из них был действующий до сих пор космодром в городе Мирный. Высланных из южных регионов на Север немцев заставили участвовать в этом строительстве. Только после завершения той стройки люди получили возможность вернуться домой.

Непростой разговор

Михаил Федорович Золотухин пришел домой поздно – уже было за восемь вечера, но он, как всегда, не смог совладать с хозяйской суетой, которой каждый

день было предостаточно. Одно цепляется за другое... Будто кто-то сильный и неотвязный всё время не давал ходу домой, к тёплой и мягкой постельке да к жене – Меланьюшке. Вот уже и табунок родной навестил – четырех своих лошадок, мягкими кулаками игриво помял им бока, отчего те завсхрапывали, запереминались, запостукивали копытами, выказывая охотку поиграть с любимым хозяином, да только тот не ответил на этот раз взаимностью, а лишь печально склонил голову, прогундосил что-то невнятное, да и пошел прочь.

В избу сразу не зашел, плюхнулся первоначально на низенькую скамеечку перед палисадником – любимую свою. Когда он сидел на ней, ему всегда просторно думалось, и на душе было вольготно, и мечталось славно. А невеселые мысли, иногда роившиеся в седеющей голове, улетали далеко-далёко.

Сегодня всё не заладилось у него с самого утра, всё пошло не так. В восьмом часу утра зашел к нему на разговор новый начальник деревни – председатель недавно созданного колхоза Богданов, старый вроде бы друг, и завел разговор, на котором волей-неволей пришлось присутствовать.

– Пойдем-ко, Фёдрыч, в уголок какой-нибудь подальше, да посидим, покумекам, что делать-то теперь?

Он всегда так коверкал отчество Золотухина. Это повелось с детства, которое у них – однодворков – было общим, а потом вошло в привычку, и Михаил на него не обижался. Тем более что они с ранней самой поры были закадычными друзьями. Зашли в уголок повети, где среди разбросанного по рядкам мелких бревен сена стояла сколоченная из сосновых горбылей «хибарка» – прибежище уходящего иногда сюда от людей хозяина дома Золотухина.

– Вишь, как дело-то народишко выкручивает, – осторожно начал разговор председатель, – ешшо маненько, и мы готовые враги с тобой будем.

– Почему ет так? Сразу и враги, – неуверенно, как бы про себя возразил Золотухин, – мы ведь с тобой, Егор Емельянович, не враги вроде бы, а наоборот, корешки форменные...

Он впервые назвал по имени-отчеству близкого человека, друга, можно сказать. Почему так назвал, не понял и сам, что-то заставило...

Председатель тут заерзал на стуле, запотягивался, видно, ему потребовалось выразить свои соображения:

– Ну, вот что я скажу тебе, Михаил, теперь сразу-то и не поймешь, кто тут друг, а кто нет. Только есть установка – в районе у нас лежит государственный приказ: надо создавать колхозы! И я этот приказ получил, и скажу тебе прямо, Михаил Федорович: я его строго исполняю – ты это хорошо знаешь. Мне совсем не след с властью спорить.

И понял тогда Михаил, что с этой минуты друг его закадычный Егор больше вовсе и не друг ему, а совсем, быть может, наоборот... И окончательно осознал он, что нахлынувшие на их деревню перемены – это не какая-то глупейшая шутка или прихоть местного руководства, а вполне осознанная и продуманная государственная задача, которую такие председатели, как приятель его Егор, будут выполнять во что бы то ни стало и несмотря ни на что. А значит, будут ломать судьбы людей, сажать в тюрьмы несогласных... И его самого судьбу сотрут в порошок, и саму жизнь, и достаток его семьи, заработанный тяжелым трудом его и его предков, если это потребует новая власть. Это что – насмарку всё? На распыл? Да нет, не может быть такого! Он ведь сам первый в красноармейцах служил в гражданскую, рвал глотку на деревенских сходках: «Даешь Советы! Советскую власть даешь!» Ранен был белогвардейскими пулями два раза – нога пробита и плечо. Он честно заработал право жить счастливо и достойно в своей семье с женой любимой Меланьей и с драгоценными деточками Ванькой и Наташкой. Жить тихо и богато, как всем обещали товарищ Ленин и товарищ Троцкий, как писалось

о том в московских газетах, которые Михаил читал сам и которым беспрекословно верил. И он искренне старался помогать партии строить обещанный всем «социализм», до наступления которого и оставалось-то уже совсем немного, как сладко бают знакомые большевики... Михаил Федорович приветствовал партию, которая устами ближайшего соратника Ленина Бухарина призывала крестьян обогащаться, чтобы достойно жить, и, следуя этому призыву, семья его заработала право иметь в хозяйстве табун лошадей, стадо коров, стадо свиней, изрядно овец, пашню в двенадцать гектаров... Чтобы содержать большое это хозяйство, все члены семьи, а также их родственники без усталости работали в поле и в деревне и совсем мало отдыхали.

Они трудились много, но всегда понимали: труд их во благо семьи и других людей. Хозяйство Золотухиных помогало выживать многим деревенским семьям. Их лошади были главной тягловой силой всей деревни, они пахали деревенские угодья, боронили-сеяли, золотухинские коровушки кормили людей молочком, творогом-маслицем, кузня их снабжала население всем железным обиходом: лопаты, топоры, засовы... Работала и своя водяная мельница, молотилка рожь и ячмень всей округи. Всё было налажено в его хозяйстве, приносило людям пользу.

Но на прошедшем недавно колхозном собрании хозяйство это было почему-то объявлено «кулацким, незаконно изъятым из общественного пользования», и принято решение сдать его в колхоз.

Михаил, как ни старался, не смог это принять. Он никак не мог уразуметь одного: почему, на каком основании посторонние люди, назвавшие себя каким-то колхозом, вдруг решили, что имеют право отнять у него его землю, его вилы и лопаты, выращенный им, а не их руками хлеб, картошку и турнепс, почему они считают возможным выгонять его и семью из дома, не давая ничего взамен? «Такого же не может быть», – размышлял Золотухин.

Эти вопросы он задал и зашедшему к нему, сегодня сидящему рядом бывшему корешу Егору Ермолаевичу Богданову.

– Вот ты, Гошка, хоть понимаешь, што незаконно всё это против меня... понимаешь, иль нет?

Тот помолчал, пошаркал зубами.

– Ну, если и понимаю, дак что ж с того? Против силы не попрешь.

Вечер был зябкий, и Михаила Золотухина маленько корежило от сырости и прохлады. Постукивая зубьями, он спросил:

– Ну дак и што мне теперь, Егор, куды деваться-то?

И посмотрел на Богданова. Тот сидел нахохлившийся, втянувший голову в плечи. Увидев устремленный на него взгляд, выпрямился, сказал честно:

– У тебя только две дорожки, Миша. Надо убежать по-быстрому. Затихариться где-нибудь, никто и искать тебя не станет, счас таких, как ты, тыщи по городам шастают. Это раз. Прямо сегодня, потому как принято решение выселять тебя и увозить. Куда – не знаю.

– А другая дорожка?

– А это, брат, куда повезут, туда и ехать.

Что ни фраза – словно тяжелая гиря на шею. Михаил совсем поник, сидел мрачный, склонив голову.

И еще был у Золотухина вопрос, наиважнейший, можно сказать: и дом, и всё хозяйство наживалось пусть и радостным, но тяжелым трудом, бывший друг его знал об этом – всё ведь на глазах было у деревни:

– А добро мое на кого оставить? Просто так, что ли, бросить?

Ответа он не услышал. Егор отмолчался. Только втянул голову в плечи и съежился. В конце концов пробурчал:

– Не знаю я ничего. Люди из района приедут, разберутся...

Вот и весь разговор. Богданов вдруг поднялся. Продолжать тяжелую беседу ему не хотелось. Сказал, строго нахмутив брови:

– Не поминай лихом, Михаил Федорович.

Золотухин не знал, как держаться в таких случаях. Понимал только: нельзя казаться подавленным и впадать в отчаяние. Так ведут себя люди, потерявшие лицо. А он свое терять не собирается, хотя тяжело ему сейчас было, хуже некуда. Высказал только:

– Жизнь подскажет, что да как.

И пожал протянутую ему руку.

Первоочередные задачи

Советское строительство в российском обществе, поставившем задачу построения социализма в стране, в конце 20-х – начале 30-х годов зашло в тупик. Причиной были крайне отсталые формы хозяйствования как в городе, так и в деревне. Индустриализация, широко характерная на тот период для ведущих государств, почти не коснулась России. Около восьмидесяти процентов всей российской промышленности было занято в аграрном секторе. Россия была сельскохозяйственной страной, в основном живущей за счет продажи на зарубежные рынки зерна и фуража. При столь низком уровне индустриализации, при отсталой оборонной промышленности Россия была беспомощной в военном отношении и в случае военного конфликта заведомо проиграла бы войну с любым мало-мальски сильным противником. Тем более, плохо защищенная страна, невероятно богатая природными ресурсами, представляла собой лакомую добычу для окружающих ее государств – международных хищников, давно мечтающих пожизниться за счет ее баснословных сокровищ.

Руководство страны понимало – необходимо в самые сжатые сроки обеспечить безопасность границы, а для этого требовалось:

– переформатировать сельское хозяйство, переделав разрозненные единоличные, никому не подчиняющиеся частные кулацкие хозяйства в мощный единый аграрный комплекс, подчиненный центральному московскому руководству, которым можно было бы управлять в ручном режиме прямо из Кремля;

– произвести индустриализацию страны, вооружившись опытом ведущих промышленных стран, купив у них самые передовые технологии, построив в России современные фабрики и заводы;

– переоснастить и перестроить отсталые российские армию и флот. Взять пример с военных организаций ведущих, наиболее сильных армий мира, перенять у них передовой военный опыт, организацию действий воинских формирований и военнослужащих в условиях современной войны. Оснастить армию и флот современным оружием и оборудованием.

И. В. Сталин считал: в абсолютно аграрной стране реформирование народного хозяйства с целью его индустриализации следовало начинать с основы основ – с аграрного сектора. В свою очередь, для того, чтобы появились совершенно новые стимулы для развития в стране сельского хозяйства, было необходимо осуществить в стране так называемую коллективизацию, то есть объединить единоличные, мелкие и малоэффективные частные деревенские предприятия в крупные сельскохозяйственные промышленные центры, которые впоследствии должны были вместе со всей страной развивать индустриализацию и работать на становление советской экономики.

Достигнутые в ходе проводимой в стране коллективизации результаты в самом деле серьезно повлияли на темпы становления советского народного хозяйства, приостановили качественное отставание роста промышленного производства в России по сравнению с развитыми государствами.

Нельзя не учитывать, однако, что коллективизация в России проводилась варварскими методами и привела к масштабным человеческим жертвам. Противники объявлялись врагами народа и репрессировались. Общее количество жертв установить теперь затруднительно, однако, по оценкам компетентных исследователей, в период утверждения в послереволюционной России коллективного хозяйства и сопутствующих ему крестьянских восстаний погибло около 800 тысяч деревенских граждан.

Ни государству, ни населению долго не удавалось преодолеть так называемые «ножницы» – ценовую диспропорцию между промышленными и сельскохозяйственными товарами, вызванную отсталым состоянием российской промышленности и неурегулированностью рыночных отношений. Каждое металлическое изделие на городском рынке стоило неизмеримо дорого по сравнению с ценами хлеба или фуража, поэтому крестьянин не мог позволить себе купить какое-либо заводское или фабричное изделие. Это могли лишь собственники, владеющие достаточными хлебными запасами, а значит, и необходимыми финансами. Такая ситуация рождала недовольство среди крестьянской массы.

В тот сложный период борьбы с дефицитом сельхозпродукции советское правительство приняло скоропалительное решение о необходимости снижения стоимости аграрных товаров путем нейтрализации их владельцев, искусственно взвинчивающих или понижающих цены (кулаков) и тем самым мешающих руководству страны создавать и регулировать нормальные торговые отношения. Дальнейшее развитие событий показало, что это решение оказало самое губительное воздействие на весь ход в целом верных шагов российских властей по снижению стоимости аграрной продукции, так как прямым образом содействовало возникновению в стране нового аграрного института, враждебного духу нормального развития сельского хозяйства – института кулачества. Другими словами, я утверждаю: возникновение и становление в стране кулачества было инспирировано непродуманной или, говоря точнее, вредоносной политикой лидеров большевистской партии, направивших острие борьбы против самой работоспособной части русского крестьянства.

Этот новый институт не появился бы и не потребовал столько усилий для борьбы с ним, если бы руководство большевистской партии само не спровоцировало это противостояние.

Правительство делало попытки нормализации хлебного рынка. По замыслу И. В. Сталина, проблемы могли решить крупные промышленные зерновые хозяйства – совхозы и колхозы. 1 августа 1928 года вышло Постановление ЦИК и СНК СССР «Об организации крупных зерновых хозяйств». Создаваемые хозяйства планировалось объединить в трест союзного значения «Зернотрест», состоящий в подчинении Правительства страны. Однако эти мероприятия не принесли ожидаемых результатов. Готовился переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства.

Главные усилия большевистской партии направлялись на борьбу с кулачеством как с основным препятствием в битве государства за проведение коллективизации. В этой связи 7 ноября 1929 года была опубликована статья И. Сталина «Год великого перелома». В ней руководитель советского государства объявил населению: в стране происходят коренные изменения в развитии советского земледелия, суть которых состоит в полном

отказе и уничтожении проявлений идеологии частных собственников в деревне и переходе к политике ликвидации кулачества как класса. Эта статья признается большинством историков отправной точкой к началу «сплошной коллективизации», к развороту кампании, направленной на внедрение радикальных перемен в сельском хозяйстве. Статья дала старт началу широких репрессий в России в отношении лучших российских крестьян, получивших в советской партийной печати клеймо «кулаки». К сожалению, борьба большевиков с ними сопровождалась немыслимыми безжалостными репрессиями, немотивированной жестокостью чужеродных ленинских комиссаров по отношению к собственному народу.

Страшный путь

Золотухиных забрали через неделю. Перед этим изрядно поиздевались. Сначала поставили в вину то, что семья, якобы, не выплатила государству сельскохозяйственный налог. Хозяин семьи дед Данила сходил в сельский совет и оплатил назначенные долги. Буквально через два-три дня явились с требованием отсыпать колхозу еще несколько пудов пшеницы, которую он будто бы задолжал ранее. Дед отсыпал указанный воз пшеницы – вернул липовый долг. Потом с него затребовали деньги в колхозную кассу, которые он никому не был должен. Он продал часть скотины и опять отнес деньги в колхоз. Но тогда объявил всем: больше никому не даст ни копейки. К нему пришли домой два человека из колхозного правления, которыми руководил какой-то хмурый представитель районной власти, и скомандовали быстро собираться. Меланья бегала по дому словно тетерка, на гнездо которой напали охотники, металась туда-сюда, быстро-быстро собирала вещи, толкала их в мешок. Тот незнакомый мужичок из района, маленький и едкий, почему-то злобный, всё время следил за тем, чтобы хозяин с хозяйкой не взяли с собой чего-нибудь лишнего.

– Теплой одежды не брать! Еды с собой не брать! Там накормят! Не бары всяко! Кобыле тяжело вас везти будет! Раздобрели тут, богатеи!

Он вырывал из рук Меланьи детские пальтишки, платишки, сапожки, одеяльца, разбрасывал их по углам золотухинского дома, покрикивал: достаточно, хватит! Выгонял хозяев, теперь уже бывших, на крылечко, на улицу. Прогонял из родного дома.

Меланья в такой устроенной уполномоченным спешке многое не успела забрать из дома, многое просто забыла взять. Она ведь очень волновалась, хозяйка большого дома, в котором прожила с любимым мужем и деточками Ванюшей и Наташей много лет, дома, в котором каждая вещичка знала свой уголок, каждая посудинка лежала на своем местечке, где жил организованный ею порядок и чистота. В хлеву, остающемся в доме, обитала возвращенная и ухоженная ею скотинка, так любимая ею.

Теперь чужая лошадка увозит ее и всю семью от родного дома, от очага, зажженного ею. Везет в неизвестные, неведомые дали, откуда им, наверное, не будет возврата. И Меланья закрыла лицо руками и долго-долго протяжно выла, как испокон веков плачут русские бабы, обиженные на злых людей, на свою судьбу.

Хозяин семьи Михаил Золотухин, сгорбившись, сидел в санях позади всех и отрешенно смотрел на уходящий вдаль лес. Плакать по мужицкому обычаю он не мог, но глаза его и веки от недосыпа последних ночей были красные и влажные. Потом был состав, везущий несчастных людей куда-то на Север.

Их погрузили на поезд по сорок, а то и по пятьдесят лишенцев на каждый вагон. Михаилу всего-то парочку раз в жизни довелось ездить в общих пассажирских вагонах, но такого дикого уродства условий самого проезда

ему не только не доводилось никогда видеть, но даже и слышать хотя бы от кого-нибудь.

«Теплушка» скрежетала и постанывала, как несмазанная телега. Сколоченная из невероятно тонких досок для пользования в южных районах страны, предназначенная для перевозки скота, о чем свидетельствовала непреходящая навозная вонь, она, кроме всего прочего, продувалась с разных сторон всеми ветрами. Если учесть – на дворе стоял январь, а температура по ночам держалась приблизительно минус двадцать градусов, можно понять: люди ехали в этом вагоне в абсолютно нечеловеческих условиях.

Обитатели поезда буквально сражались за свое право жить. Складывалось впечатление: те, которым было поручено отвезти людей в другую географическую точку и доставить их живыми и здоровыми, имели противоположное задание – сделать так, чтобы их подопечные до точки той не доехали, а по дороге замерзли все и поумирали. Пассажиры, все как один, во время быстрых сборов получали одну и ту же лукавую команду: теплой одежды с собой не брать! Ехать надо налегке, мол, не надо ни о чем беспокоиться, дорога будет теплой...

«Теплая» эта дорога обернулась тем, что без утепленной одежды, без элементарных, хотя бы простеньких одеял нечем было накрыть самых незащищенных – детей и стариков. На железнодорожных станциях, и везде, где останавливался поезд, стоял страшный, душераздирающий крик – это во весь голос плакали и убивались в плаче матери, чьи дети умерли от холода и болезней в дороге. Детишек этих негде и некогда было хоронить: поезд всё время двигался куда-то. Везти же детские трупы через всю Россию было непозволительно: не соответствовало это санитарным нормам. И поездные бригады на остановках выбрасывали их прямо в снег. И поезда уезжали... Уезжали от своих мертвых детей... И это правда!

Железные наши дороги видали много чего такого, отчего до сих пор стынет сердце. А ведь это было на «вольной» нашей Руси-матушке. Было! Не дай Бог случится опять...

Точно так же поступали и с немощными стариками, которые не в силах были передвигаться самостоятельно. И они оставались в бескрайних российских полях, умирающие среди снегов, одинокие, брошенные всеми, бессильные, недоуменно озиравшиеся по сторонам: куда это уехали от них их родные?..

Михаила Золотухина потрясла внезапная кончина отца, бывшего для всех дедом Даниилой. Последние дни, когда поезд покинул пределы родных для них мест, сидел он поникший и потухший, ни с кем не разговаривал, будто угас вечно живший в нем огонек казачьего рода. Он вышел из вагона сразу после того, как выгрузили последнюю партию умерших в пути детишек. Вышел и не вернулся. И след его простыл в северных холодах. Эта потеря была особенно тяжелой и невосполнимой и лежала на сердце холодной льдинкой. И никак не таяла.

Еда у людей закончилась быстро, народ перевозили семьями – двое-трое суток, и всё, нет больше еды! Закончилась. И всё это было потому, что, когда «кулаков» выгоняли из домов и увозили в неведомые края, доброхоты-контролеры запрещали людям брать с собой много еды и одежды. Почему запрещали? Что значит много, и что мало? Никаких нормативов не было. Эти запреты производились «от фонаря», в зависимости от вредности и бестолковости какого-нибудь конторского придурка, участвовавшего в изгнании из деревни очередного «вредителя-кулака», как правило, соседа или односельчанина-завистника. Всё по Горькому: «угнетенная душа сама гнетет». Затем у пассажиров наступал голод и обморожения, и люди погибали от того, что о них никто не заботился, не оказывал хотя бы минимальную помощь.

Представители власти не собирались кормить «деревенских мироедов». Те, у кого оставались хоть какие-то запасы, старались прятать еду от окружающих: надо было спасать детей, которых в начале пути было большинство, а к концу маршрута осталось меньше половины. Большинство ребятишек, ослабленных голодом, поумирало от простудных заболеваний и от какой-то кишечной заразы. Многие из детей, сильно мучившихся от резких болей, кричали по ночам так, что не мог уснуть весь вагон. Медицинской помощи не было. Единственное, чем помогали поездные бригады: один раз в сутки приносили и ставили в каждый вагон, в котором перевозили переселенцев, два ведра воды, что хоть немного спасало ситуацию. Дети умирали постоянно, ежедневно. Страшно об этом говорить, но детская смертность на протяжении того кошмарного пути стала для людей обыденностью. Трупик умерших в дороге просто выбрасывали из поезда прямо на ходу, в снег.

Михаил Золотухин и супруга его Меланья спасали своих ребятишек как могли. Днем хозяин семьи заставлял жену, ребятишек и себя больше двигаться, махать руками, накачивать и разминать, сколько можно, застывающие, скукоженные мышцы, быстро деревенеющие от постоянного холода. Когда ложились спать, они с Меланьей ложились на левый и правый бок лицом друг другу, а в середину между собой укладывали Ванятку и Наташу и прижимали их к себе, чтобы отдать как можно больше тепла. Так они вместе и спаслись, и сохранили в тяжелейшей дороге своих детей.

Этот страшный путь от родины до места ссылки изгнанные из родного дома «кулаки», те, кто выжил, запомнили на всю жизнь.

Дорога была долгой. Сначала поезд довёз их до Архангельска, затем большую группу спецпереселенцев, в которую попала семья Золотухиных, перевезли в пустовавшее здание Николо-Корельского монастыря, расположенное в сорока километрах от города. Оттуда добирались до деревни Солзы, затем до Красной Горы, а потом уже до конечной точки – Пертоминского Спасо-Преображенского мужского монастыря, разоренного в конце 1920-х годов, на тот период выполнявшего функции фильтрационного и пересылочного пункта. Это был путь многих несчастных крестьян, причисленных к «кулакам», сосланным в северный край для размещения на территории Онежского полуострова Белого моря. Там, в бывших монастырских кельях, теперь располагалась Коммуна имени Сталина. Оттуда спецпереселенцев отправляли в создаваемые для них поселки по берегам Онежского полуострова: Сосновка, Кислуха, Кега, Лопатка, Конюхово, Жижгин, Унский лесозавод...

Трудные первые шаги

В деревне Луда, куда должны были разместить астраханскую партию, в которой находилась и семья Михаила Золотухина, о вновь прибывших заранее ничего не сообщили, поэтому люди ночевали в жутких условиях, в том числе в каком-то сарае, где местные рыбаки держали карбасы. Их никто не ждал.

К тому же оказалось: какие-то «доброхоты» распустили по деревне слух: «привезли семьи уголовников, для которых зарезать человека – раз плюнуть!» Люди, озябшие, скучившись, прижавшись друг к другу, сидели в деревне кто где и ждали неизвестно чего. Наконец прибежал кто-то из местного начальства и начал распределять переселенцев по разным местам. Мужскую часть, кто поздоровее, рассовали по холодным колхозным складам, бытовкам, по рыбацким тоням, зимой пустующим, всяким «клетухам». Люди легли кто как, на зимнем холоде, «впавалку», считай друг на друге. Рассчитывали на размещение по избам, в которых жило местное население, но жители впускать в свои дома никого не хотели: поморы и без них жили тесно, семьи у всех были большие, поэтому начальники буквально вталкивали приезжих в деревенские

избы, покрикивая при этом и приговаривая: «Давай, запускай, Марья (или Степан?), чичас некогда народ считать-рядить, завтрама толком рассчитаю!» И люди бестолково, без разбору спали первые ночи на поморских деревянных полах, в сараях и в банях вповалку. И только через два-три дня их стали потихоньку расселять по избам, где хоть и тесно, но зато в тепле.

Местные жители, которых притеснили в законном жилье, сильно возмущались и крепко ругали власть, допустившую такое насилие. Начальники, одуревшие от неслыханной, вдруг свалившейся на их неподготовленные головы тягомотной, невыполняемой задачи, поставленной районной партийной организацией и районным же правительством, поначалу были в сильном затруднении: наплыв людей оказался вне всяких ожиданий, огромным, непредсказуемым. Местная власть вынужденно пряталась по углам и не казалась людям носа – спросят потом с них, а они в самом деле не знают, с какого боку подойти. Поэтому в течение первых нескольких дней происходил страшный, вынужденный переполох, если не сказать бардак!

Сразу встал вопрос: спецпереселенцы, по всей видимости, явились на Север надолго, а готового жилья для них не было, значит, надо строить жильё! Северяне – народ сердобольный, поэтому, какие бы страсти ни рассказывали о приезжих, люди – всегда люди! А потом всё откроется само собой...

Пришельцев первым делом бросили на заготовку бревен для строительства барачков. Мужиков угнали в леса, чтобы рубить строевые ели и сосны. Женщины обрубали сучья, очищали бревна от коры, копали ямы под сваи... Людей подвигало огромное желание поскорее построить для себя жилье и жить по-человечески. Стройку в самом деле завершили в рекордные сроки, и к следующей зиме переселенцы въехали во вновь построенные бараки. Безусловно, по первоначально никто не шиковал: на семью выделялась одна только комната. Но, честно сказать, в России тогда мало кто жил в лучших условиях, и в городах, и в весях народ всегда обитал стесненно.

Жившие у себя на родине в более комфортных климатических условиях, чем северяне, спецпереселенцы сразу же начали пытаться разводить около домов огороды и сады в надежде на дополнительное питание. Не сразу всё получалось, так как северная почва песчаная, и южные культуры плохо приживались здесь, в более холодном климате, но астраханские, крымские или же калмыцкие крестьяне, переехавшие в северные широты, больше понимали толк в создании плодородной почвы. Они собирали на морских берегах водоросли, выброшенные штормами на берег, смешивали их с песком и морской водой, получали таким образом перегной и затем добавляли его в корневища кустов, картофеля и в овощную рассаду. Этот способ давал хорошие урожаи. Таким образом на пустынных раньше беломорских песках начали буйно расти картошка, репа, турнепс, редька, кусты малины, клубники, крыжовника, ежевики, а в парниках, придуманных южанами, стали разводиться огурцы, морковка и редиска, чего раньше не было.

Так называемые «кулаки», приехавшие от Каспийского и Азовского морей, научили поморов своим исконным способам ловли мелкой рыбы. Для местных жителей это стало настоящим переворотом и большим достижением в привычной рыбодобыче. И вот почему.

Например, до прихода к ним спецпереселенцев местные рыбаки не умели ловить селедку. Это теперь звучит странно: как это так, ведь сейчас беломорская селедочка разных посолов продается в стране, да и за рубежом повсеместно. Значит, ее ловят все-таки. Да, ловят, а раньше, то есть до появления в этих местах пришельцев из южных областей, селедку около берегов здесь не ловили. У поморов северной этой рыбкой никто не занимался,

потому что не было подходящих снастей. Объяснений для этого странного явления несколько.

Попробуйте поставить от самого берега в морскую сторону обыкновенную рюжу (рыболовецкая снасть, позаимствованная поморами у соседей – скандинавов. «Рюжа» по-фински – снасть). Со стопроцентной гарантией могу сказать: вам удастся взять хороший улов наваги, ревяков, камбалы, мелкой трески и какой-нибудь другой мелочи. Но вот что удивительно: селедки вы не сможете поймать у морского берега никогда. Теперь выйдите на карбаске или на катере подальше от берега, уйдите туда, где внизу большая глубина. Сразу увидите: море кишит селедкой. Вот она ходит огромными стаями рядом с вашей лодкой, серебряными искорками поблескивают на солнце бока этих красивых рыбок. То есть около берега сельдь не живет, а на глубине ее много. Да, это так, в этом особенность селедки. Но и здесь, на глубине, взять ее совсем непросто.

Традиционных способов ловли ее на глубинных местах у поморов никогда не было. Для этого требовались широкие ставные невода с высотой стены из капроновой нити около пяти-семи метров, с размером ячеи примерно в десять миллиметров. Ну и прогоны, чтобы перекрыть ход сельдяной стаи, должны быть не меньше метров семидесяти. Снастей с такими параметрами у беломорских рыбаков не имелось. Они слыхали, что где-то на юге России, на Каспии или на Черном море, местные рыбаки владеют искусством рыбодобычи мелкой рыбешки, и свободно, в массовом количестве вылавливают не крупную кефаль, ставриду, тюльку и барабульку. А это означало, что и беломорскую селедочку они могли бы запросто ловить: размеры-то у рыбок одни и те же – что у селедки, что у барабульки. Да где их взять было, этих рыбаков, чтобы показали, как да что? Все рыболовные снасти вязались раньше вручную. Вот и попробуй, беломорский рыбаки, связать в одиночку такой неводочек своими руками, да еще не капроновый и эластичный, а тяжеленный, из простого, довольно толстого прядена, насыщенного морской солью. Будешь вязать год, денег и сил потратишь уйму, а потом эту громадную сырую тягость возьмет, да и унесет в морскую голомень очередной крутой взводенёк...

Нет уж, себе дороже такие эксперименты!

И поморы остерегались брать на себя смелость связываться с заманчивым, но неизведанным пока никем новым способом рыбной ловли. Теперь беломорскую сельдь главным образом тралят, то есть ловят с судов с помощью больших капроновых тралов. Но есть большая разница: тралить сельдь могут только крупные и богатые городские хозяйства. Их суда забрасывают тралы в открытом море, куда прибрежным рыбакам путь заказан, и черпают селедочку в излюбленных глубоких местах. А местные рыбаки сидят на берегу, издали с завистью поглядывают на удачливых коллег, орудующих с сейнеров загребущими тралами, и довольствуются тем малым, что дает им их прибрежная рыбацкая удача.

Так было, пока не прибыли сюда вынужденные переселенцы и не привезли рыбацкие новинки от Каспийского да от Азовского морей. Прибыли они сюда и, слава Богу, устроили многое по-своему. С приездом их на Белом море начался совсем другой прибрежный лов селедки. Теперь за лудянистой коргой, протянувшейся вдоль берега, на спуске воды в глубину, высятся из моря огромные ставные сельдяные невода, закреплённые на длинных и толстых одиннадцатиметровых еловых кольях, по-голландски называемых «гундерами», и летней порой веселые молодые поморы выливают из их тайников в колхозные карбасы серебряные потоки трепещущей сельди...